

Три рассказа

Случай на молочном заводе

Пародия на детектив

Два лейтенанта, Петров и Брошкин, шли по территории молочного завода. Все было спокойно. Вдруг грохнул выстрел. Петров взмахнул руками и упал замертво. Брошкин насторожился. Он пошел к телефону-автомату, набрал номер и стал ждать.

— Алло, — закричал он, — алло! Подполковник Майоров? Это я, Брошкин. Срочно вышлите машину на молочный завод.

Брошкин повесил трубку и пошел к директору завода.

— Что это у вас тут... стреляют? — строго спросил он.

— Да это шпион, — с досадой сказал директор. — Третьего дня шли наши и вдруг видят: сидит он и молоко пьет. Они побежали за ним, а он побежал и в творог залез.

— В какой творог? — удивился Брошкин.

— А у нас на четвертом дворе триста тонн творога лежит. Так он в нем до сих пор и лазает.

— Так, — сказал Брошкин.

Тут подъехала машина, и из нее вышли подполковник Майоров и шесть лейтенантов. Брошкин подошел к подполковнику и четко доложил обстановку.

— Надо брать, — сказал Майоров.

— Как брать, — закричал директор, — а творог?

— Творог вывозить, — сказал Майоров.

— Так ведь тары нет, — сокрушенно сказал директор.

— Тогда будем ждать, — сказал Брошкин, — проголодается — вылезет.

— Он не проголодается, — сказал Майоров. — Он, наверное, творог ест.

— Тогда будем ждать, пока весь съест, — сказал нетерпеливый Брошкин.

— Это будет очень долго, — сказал директор.

— Мы тоже будем есть творог, — улыбаясь, сказал Майоров.

Он построил своих людей и повел их на четвертый двор; там они растянулись шеренгой у творожной горы и стали есть. Вдруг увидели, что к ним идет огромная толпа.

— Мы к вам, — сказал самый первый, — в помощь. Сейчас у нас обед, вот мы и пришли...

— Спасибо, — сказал Майоров, и его строгие глаза потеплели.

Дело пошло быстрее. Творожная гора уменьшалась. Когда осталось килограмм двадцать, из творога выскочил человек. Он быстро сбил шестерых лейтенантов. Потом побежал через двор, ловко увернувшись от наручников, которые лежали на крышке люка. Брошкин побежал за ним. Никто не стрелял. Все боялись попасть в Брошкина. Брошкин не стрелял, боясь попасть в шпиона. Стрелял один шпион. Вот он скрылся в третьем дворе. Брошкин скрылся там же. Через минуту он вышел назад.

— Плохо дело, — сказал Брошкин, — теперь он в масло залез.

Вход свободный

Будит меня жена среди ночи, кричит:

— Все! Проспала из-за тебя самолет! Беги за такси, быстро!

Вспомнил: она же мне вчера говорила — экскурсия у них от предприятия на массив Гиндукуш!

Накинул халат, понесся. Привожу такси, взбегаю — дверь захлопнута, жены уже нет.

— Понимаешь, — таксисту говорю, — дверь моя, видишь ли, захлопнулась, так что дать я тебе ничего не могу. Вот — в кармане только оказалось расписание пригородных поездов за прошлый год.

— Что ж, — говорит. — Давай.

Положил расписание в карман, уехал. А я дверь свою подергал — не открывается, крепко заскочила. Пошел я через улицу в пожарное депо, знакомого брандмейстера разбудил.

— Да нет, — он говорит, — никак нельзя! Нам за безогонный выезд знаешь что будет? У меня к тебе другое предложение есть: поступай лучше к нам в пожарные! Обмундирование дается, багор! Пожарный спит — служба идет!

— Вообще, заманчиво, — говорю. — Подумаю.

Пошел обратно во двор, бельевую веревку снял.

Поднимаюсь, звоню верхнему соседу.

— Здравствуйте! — говорю. — Хочу спуститься из вашего окна.

— А зачем? — он говорит. Я рассказал.

— Нет, — говорит, — не могу этого позволить, потому как веревка не выдержит, которая, кстати, моя.

Вырвал веревку, дверь закрыл. Спустился я тогда вниз, к монтеру.

— Сделаем, — говорит. — В мягкой манере!

Собрал инструмент, пошли. Долго так возился мелкими щипчиками. Потом схватил кувалду — как ахнет! Дверь — вдребезги!

— Вот так, — говорит. — В мягкой манере! А что двери нет — ерунда! Одеяло пока повесь!

Ночью я, понятно, не спал. Тревожно. Такое впечатление, вообще, будто на площадку кровать выставил.

Вздremнул только, слышу — скрип! Вижу — вошел какой-то тип, с узлом.

— Так... — меня увидел. — А нельзя?

— Почему же нельзя? — говорю. — Можно. Двери-то нет, сам же видишь!

Разговорились. Толик Керосинщиков его зовут... Ехал к брату своему за пять тысяч километров — и в первый же вечер получил от него в глаз.

— ...Но и он тоже словил! Усек? — Толик говорит.

Ясно, обидно действительно, — ехать пять тысяч километров исключительно для того, чтобы получить в глаз.

Говорит:

— Здорово мне у тебя нравится... Отдохну?

— Давай.

Прилег он на диван, богиночки — бух! Накрыл я его картой полушарий для тепла.

Соседка входит из сто одиннадцатой.

— Сосед, — говорит. — Я у жены твоей, помнится, тазик брала, нельзя ли еще и сковородку взять?

— Да что там сковородка, — говорю, — садись! Сковородку бери, что там еще? Может, еще чего-нибудь тебе надо?

Потом увидел через отсутствующую дверь: влюбленные стоят на площадке, мерзнут.

— Входите! — говорю. — Чего мерзнуть?

— Ой, а можно? — говорят. — Спасибо!

Отвел я их во вторую комнату, оставил — только они там почему-то сразу принялись в домино играть... Бац! Я даже вздрогнул. Пауза, тишина. Снова — бац!

Ну, это уж не мое дело, пусть чем хотят, тем и занимаются. Пригласить к себе, а потом еще действия диктовать... Зачем?

На лестнице тяжелые шаги раздались. Входит водолаз. За ним резиновый шланг тянется, мокрый.

— Все! — глухо говорит. — Моторюга не метет! Обрежь кишку, быстро! Обрезал кишку — перепилил тупым столовым ножом.

Водолаз воздух вдохнул:

— Ху-ху! Ну, выручил ты меня, браток!

Потом еще — монтер снова зашел.

— Ну, как без двери? — говорит. — Привыкаешь?

— Да-а!

— Вообще, — говорит, — жизнь вроде поживее пошла после того, как я дверь у тебя выбил.

Тут является родственник. Кока. Кока Коля. Говорит:

— Ну, как ты живешь?

— Ну, как?

— Даже двери у тебя нет.

— Двери нет, действительно.

— То-то вещей у тебя никаких нет.

— Вещей действительно нет.

— Откажись, — Кока говорит.

— От чего?

— Сам, — говорит, — понимаешь.

— Ей-богу, — говорю, — не понимаю.

— Ну, смотри!

И тут же врывается другая соседка, Марья Горячкина, и начинает кричать, что ее муж, Иван Горячкин, в моей бездверной квартире пропал.

— Давайте мне мужа моего! Не уйду, пока мужа не отдадите!

На водолаза почему-то взелась:

— Отъел рожу-то!

Плюнула ему прямо на стекло.

Ушла.

Кока говорит:

— Ну, видишь?

— Что вижу-то?

— Послушай меня, — Кока Коля говорит. — Видел я тут объявление на улице: дверь продается, с обсадой и арматурой. Купим, поставим.

— Да нет, — говорю. — Неохота чего-то.

— Эх, — Кока говорит. — Какой-то ты безвольный!

— Я не безвольный! — говорю. — Я вольный!

— А что это за типы у тебя?

— Это, — говорю, — люди. Мои друзья.

Толик Керосинщиков тут зарыдал. Водолаз ко мне подошел, по плечу ударил железной рукой.

— Вот это по-нашему, по-водолазному! — говорит.

— ...Ну и чего ты добился? — Кока говорит.

И тут — появляется в дверном проеме фигура и начинает полыхать синим огнем!

— Марсианец, что ли, будешь? — говорю.

— Ага.

— Ну как, вообще, делишки? — спрашиваю.

Стал с ходу жаловаться, что холодно ему на Земле. Кока говорит ему:

— Вот вы — марсианец. Неужели для дела такого, как межпланетный контакт, не могли жильца другого найти — солидного, нормального!

— Значит, не могли! — грубо марсианец ему говорит.

Кока спрашивает:

— Простите, почему?

— До звонка не достаю — вот почему! Удовлетворяет вас такой ответ? Если бы тут открыто не оказалось, вообще мог бы на лестнице заледенеть!

Сидим в свете марсианца, беседуем, вдруг появляется жена (не понравилась ей, видно, на Гиндукуше!).

— Та-ак... — говорит. — А это еще кто?

— Марсианец, — говорю. — Не видишь, что ли?

— Знаю, — как закричит, — я твоих марсианцев!

— Да ты что, — говорю. — Опомнись!

— Не опомнюсь, — говорит. — Принципиально! А где дверь?

— Какая дверь?

— Наша!

— А-а-а... Разлетелась.

— С помощью чего?

— С помощью монтера.

— Ну, все! — жена говорит.

Ушла из дому, навсегда. Взяла с собой почему-то только уют.

Толик говорит:

— Ну, ничего!

— Конечно, — говорю. — Ничего!

Скоро утро настало. Солнце поднялось. Крупинки под обоями длинные тени дают.

Зарядка по радио началась: "Раз-два, раз-два... Только не нагибайтесь!.. Умоляю вас — только не нагибайтесь!".

— Спокойно! — говорю. — Никто и не нагибается.

Выскочил я — теще позвонить, то есть жене. Обратило через улицу бегу, вижу: солнце светит наискосок с дома. Продавец в овощном магазине на гармони играет.

Тут от полного восторга пнул я ногой камешек, перелетел он через дорогу, щелкнул о гранитный парапет тротуара, отскочил, оставив белую точку.

Скоро жена вернулась. Стала демонстративно блины жарить, а я стал демонстративно их есть.

...День сравнительно спокойно прошел. Только вечером уже, на красном закате, вошел вдруг в комнату караван верблюдов. Шел, брякая, постепенно уменьшаясь, и в углу комнаты — исчез.

Фаныч

Однажды на остановке метро ждал я одну колоссальную девушку! Вдруг вместо нее подходит старичок в длинном брезентовом плаще, в лахах, надетом задом наперед.

— Такой-то будешь сам по себе?

— Ну, такой-то, — говорю, — вы-то тут при чем?

— Таковую-то ждешь?

— Ну, такую-то. Вы-то откуда все знаете?

— Так вот, — говорит, — просила, значит, передать, что не может сегодня прийти. Я, выходит что, вместо нее.

Я умолк, потрясенный. Не мог я согласиться с такой подменой.

— Так вы что, — спросил наконец я, — прямо так и согласились?

— Еще чего, так! Три рубля...

— Ну, — сказал я, — так куда?

Он долго молчал. Потом я не раз замечал эту его манеру — отвечать лишь после долгого хмурого молчания.

В тот вечер, как и было задумано, шло выступление по полной программе: филармония, ресторан, такси.

Все это было явно ему не по душе. На каком-то пустыре поздней ночью он наконец вышел, хлопнув дверцей.

"Да, — думал я, — неплохо провел вечерок!.. Такая, значит, теперь у меня жизнь?"

И действительно, жизнь пошла нелегкая... Казалось бы, все обошлось, случайный этот знакомый исчез. Но почему-то тяжесть и беспокойство, вызванные его появлением, не исчезли. И вдруг я понял, что они вошли в мою жизнь навсегда.

А ведь и все — и усталость, и старость, и смерть — приходит не само по себе, а через конкретных, специальных людей.

И Фаныч (так его звали) стал появляться в моей жизни все чаще, хотя, на первый взгляд, у нас не было с ним ничего общего.

В один предпраздничный бестолковый день — полуроботы-полугульбы, а в результате ни того, ни другого, я оказался дома раньше, чем обычно. Странное, под непривычным углом солнце в комнате (редко я бывал дома в это время) вызывало у меня и какое-то странное состояние. На это освещение комнаты не было у меня готовых реакций, запланированных действий, и я так и сидел, как не свой, в каком-то неопределенном ожидании. Потом раздался звонок и вошел мой сосед, начальник сектора с нашей работы, Аникин, — человек неряшливый, потный, тяжелый во всех отношениях... Рубашка отстала от его шеи, и на воротнике изнутри были выпуклые, извилистые, грязноватые змейки. Я думаю, Аникин и не подозревал, что где-то существуют чистые прохладные мраморные залы, переливающиеся хрустальные люстры, подобное ветерку пение арф.

Мир Аникина был другой — тесные забегаловки, где, не замечая, в папиросном дыму, роняют серый пепел на желтоватые нечищенные ботинки, земляные дворы с деревянными столиками для игры в козла. И все это уже чувствовалось в нем, все это он как бы носил с собой.

И тем не менее, я стал вдруг замечать, что провожу с ним три четверти своего времени. Сначала я утешал себя, что все ж таки связан с ним производством, и что двери наших квартир упираются боками, и надо же с соседом соблюдать хотя бы видимость приличий. И все свое времяпровождение с ним я считал необязательным, случайным, своими же настоящими друзьями считал других — умных, прекрасных, четких ребят, список которых при случае я всегда мог себе предъявить. Тем не менее, все свое время я проводил почему-то с Аникиным. То я придумывал, что лучшие друзья, как лучший костюм, должны извлекаться в особых, радостных случаях, то еще что-нибудь. А честно — вдруг понял я, — мне уже действительно было лень надевать лучший костюм и ехать к блестящим друзьям, и быть там непременно в блестящей, пусть трагической, но блестящей форме. Когда проще вот так вот расслабленно сидеть дома. А тут, смотришь, зайдет Аникин...

И конечно же, с Аникиным вошел и Фаныч, оказавшийся лучшим его другом. Фаныч даже не разделся и, понятно, не поздоровался, только поглубже натянул свой треух. Чувствовалось, что он меня не одобряет. Но почему — неясно.

Аникин сполз со стула, почти стек. И напряженное, неприятное молчание... Именно так, по их мнению, надо проводить свободные вечера.

Я сидел в каком-то оцепенении, не понимая, что со мной, зачем здесь находятся эти люди, но порвать оцепенение, сделать какое-нибудь резкое движение почему-то не было ни сил, ни желания. Иногда я, встрепенувшись, открывал глаза... За столом все так же сидели Фаныч и Аникин, молча. Наконец, так сидя, я и заснул.

Когда я вышел из забытья, было хмурое ватное утро. Аникин и Фаныч спали на моей кровати... Бессмысленность происходящего убивала меня. Я пошел на кухню попить воды из чайника, и вдобавок ко всему на кухне еще обнаружился совершенно незнакомый маленький человек, который быстро ел творог из бумажки и при моем появлении испуганно вздрогнул.

"Это еще кто?" — устало подумал я.

И решив встрепенуться, начать с этого дня новую жизнь, долго мылся под ледяным душем: крикал, фыркал, визжал — всячески искусственно себя взвинчивал. Душ шуршал, стучал по синтетической занавеске.

"Что такое, — думал я, — почему это в последнее время я хожу, говорю, общаюсь исключительно с непонятными, пыльными, тягостными людьми? А потому, — вдруг понял я, — что я и сам уже стал такой наполовину, больше чем наполовину — на девяносто девять и девять десятых процента!"

Я выскочил из душа как ошпаренный.

Что случилось со мной? Боже мой! Отчего я так сломался, размяк?..

Надо быстрее встряхнуться... Пойти по случаю праздника в мой любимый ресторан.

Когда я поднялся из холодного метро, я увидел, что день разгулялся, солнце осветило верхнюю половину розовой башни Думы. Я долго не мог перейти улицу — ехал длинный стеклянный интуристовский автобус, и все, что я мог сделать, это в нем отражаться.

Потом я шел по узкой улочке в подвижной тонкой тени деревьев. Навстречу все чаще попадались группы иностранцев, "фирмы", как у нас говорят... Вот отдельно идут два скромно одетых "люкса": он — белые волосы, розовый затылок, она — сухонькая, в незаметном платье: узнаю присущее лишь божественному Диору умение так сшить дорогую вещь, словно она стоит один рубль!

Я подошел к крутящимся дверям и вдруг зачем-то вспомнил, что ресторан этот, лучший в городе, принадлежит "Интуристу", и местным сюда трудно попасть. Другое дело, что раньше я никогда не думал об этом — мне и мысль такая не приходила, что в моем городе меня могут куда-то не пустить. Но сейчас эта мысль пришла, и швейцар, сразу же сориентировавшись по моей неуверенности (а только по ней они и ориентируются), протянул руку, отделив меня от входящей толпы.

И теперь, вдруг понял я, мне уже никогда сюда не войти. Слезы, угрозы, проклятия — все это теперь только хуже!

И тут, дурачась, галдя, бросаясь спиной вперед, изображая при этом преувеличенный испуг, стали выкручиваться из стеклянных дверей итальянцы с желтыми в темных подтеках лака балалайками или с тонкими красно-синими пакетами "Берьозка шоп" с наборами, что продают теперь за валюту: меховая шапка, бутылка водки и коробок спичек.

Толкаясь, крича, хохоча, лезли они в длинный автобус...

А тут я еще встретил Аню, переводчицу, "переводчицу денег", как я про себя ее называл, ту самую девушку, что прислала вместо себя Фаныча в мою жизнь.

И на этом, надо сказать, совершенно успокоилась!

— Что делать? — только сказала она. — Тут у меня группа штатников по обменному туризму — удешевленники. Смета у них маленькая, а программу хочется составить поинтересней.

Она повернулась ко мне, но меня уже бил дикий смех.

— Удешевленники! — кричал я. — Колоссально! Надо бы не забыть!.. В баню их, по пятнадцать копеек!

— Между прочим, — сказала она, — когда ты смеешься, лицо у тебя делается совершенно идиотское!

— Ничего, — сказал я. — С лица не воду пить!

— А никто и не собирается с твоего лица ее пить! — злорадно сказала она.

И так, уже по инерции, мы шли с ней рядом, вошли в какую-то столовую самообслуживания. Я взял два рассольника, два бифштекса с гречкой, с гречневой сечкой... И тут же, конечно, ввалились Аникин с Фанычем. Аникин заорал, стал меня обнимать, раздавив в моем кармане спички... Мы с Аней молча доели все и ушли.

— Ну у тебя и друзья! — на выходе сказала она.

— Да?! — сказал я. — А я думал, Фаныч — это твой друг.

— Да нет, — после паузы сказала она, — такими друзьями я еще не обзавелась.

Мы долго шлялись по переулкам, потом присели на скамейку в неудобном земляном садике, у глухого, уходящего в небо красного кирпичного брандмауэра, и тут же стукнуло единственное в нем окошко — маленькое, с бензиновым отливом, у самой земли, и в нем показался Фаныч с блюдечком в руке. Он дул на чай, гонял по чаю ямку, задумчиво тараща глаза.

Подавленная такими случайностями, более того, решив, что это идиотские мои шутки, Аня, не прощаясь, ушла.

"А между тем, — подумал я, — это и есть теперь моя жизнь. А случайностями все это может показаться только очень со стороны".

— Ну что? — вдруг недовольно сказал Фаныч. — Брось-ка ты, знаешь... Тут нормальные, душевные парни тебя ждут, а ты... Хватит корчить из себя неизвестно что!

"И действительно, — в отчаянии подумал я, — хватит корчить из себя неизвестно что!"

— Ладно, — сказал я, — только скажите, как к вам пройти!

"И ладно, — думал я, — и пускай!"

На бегу я показал кому-то язык, высунул его больно, далеко — так что даже увидел его, вернее, белый блеск от мокрого языка, поднимающийся над ним и имеющий его форму.

...Раньше, приехав на юг, я сразу же бросался в море, ничто другое меня не занимало. Потом, поднявшись на набережную, с кожей, горящей от соленой воды и мохнатого полотенца, я сразу же встречал каких-нибудь своих друзей, мы шли под полотняный полощущийся навес... И только уже поздней теплой ночью я где-нибудь засыпал. Утром вставал и сразу же бросался в море, и снова начиналась эта ласковая теплая карусель, когда можешь пойти сюда, можешь пойти туда, можешь сделать это, а можешь этого и не делать, и знаешь — все равно будет все хорошо. Иногда целыми днями я сидел в теплой пыли у бочки с сухим вином, и все подходили какие-то прекрасные, давно знакомые люди, садились рядом...

Это было счастье, как я теперь понимаю.

Теперь же, только сойдя с автобуса, с двумя чемоданами, оттягивающими руки, я поплелся на квартирную биржу... Все хозяйки там хотели чего-то невозможного — например, супружескую пару, чтобы он непременно был брюнет, она — хрупкая блондинка или наоборот... Я только подивился изощренности их вкусов. Я же никому из них не пришелся по душе. Я стал искать помещение сам, надеясь все-таки на какую-нибудь вне-

запно вспыхнувшую симпатию, хотя навряд ли... Никогда еще, тем более с чемоданами, я не забирался в гору так высоко. Я заглядывал за все заборы, иногда, наоборот, видел вдруг зеленый заросший темный дворик у себя под ногами, далеко внизу, и, свесившись, кричал туда... Но везде неизменно получал отказ. Измученный, с саднящей от соленого пота кожей, с сухим пыльным горлом, я наконец сумел втиснуться в один дом, в узкую щель, оставленную дверью на цепочке...

— Ну ладно уж... — недовольно сказала хозяйка. В квартире было прохладно, ее насквозь продувал сквозняк, поднимая занавески.

— Только уж сразу договоримся, — сказала она, — чтобы не было потом недоразумений.

Я был согласен. Я уже где-то привык к такому обращению, хотя и не совсем понятно — где...

— Рубль за койку и три шестьдесят за прописку.

— Как? — удивился я.

— Ну да, — быстро заговорила она, — рубль за прописку с приезжих и два шестьдесят с хозяев. Ну, мы с мужем рассудили — какой же смысл нам свои еще деньги платить? Логично?

— Что ж, логично, — подумав, сказал я.

Потом она раз сто вбежала в мою комнату, пока я лежал на холодной простыне.

— Только, пожалуйста, наденьте костюм, — мой муж не любит, когда так... Только не свистите, пожалуйста, — скоро придет муж, он этого не любит...

Что же вообще он любит?

Потом я заснул и проснулся в темноте. И услышал на кухне до боли знакомый голос. Я вышел. За столом сидел Фаныч. Он недовольно посмотрел на меня... Так получилось, что мы вроде незнакомы.

...Как потом я узнал, с женой он разъехался довольно давно и вот вдруг решил ее навестить, помириться, может быть. То-то она и суетилась, всячески ему угождая.

— Извините, ради Бога, — поздней ночью, улыбаясь, вбежала хозяйка, — не возражаете, если в вашей комнате вот аквариум с окунем стоит? Мой муж, знаете, этого не любит...

И вот все спят. И окунь спит у себя в аквариуме. Но храпит — дико!

А потом, когда я вернулся из туалета и зажег испуганно свет, на своей постели я увидел огромного жука — развалился, высунув свои полупрозрачные лапки...

рачные мутные крылышки, которые почему-то не влезали под твердый панцирь!.. Видно, решил, что я такой уж друг животных!

Утром я пошел к хозяевам, чтобы выразить свое недовольство. Но их уже не было. Она, как я узнал, работала в пункте питания. А Фаныч, как обычно, в ушанке с утра уже бродил по поселку, неодобрительно на всех поглядывая. На первый взгляд он казался сторожем... Но сторожем чего?

Часам к двум все как раз набивались в этот пункт питания. Кафе "Душное"... Кафе "Душное". Вино "Липкое"... Что сразу же привело меня в бешенство — как искусственно и любовно там поддерживается медленная, огромная и, главное, всегда покорная очередь! Вместо двух раздач всегда работала только одна, хотя девушек в белых куртках вполне хватало.

— Ишь чего захотел, — сказал мне оказавшийся тут же Фаныч (после двух до самого закрытия он хмуро сидел тут), — чтобы очереди еще ему не было!

— Да, — закричал я, — захотел! Захотел, представьте себе! А порции! — сказал я. — Что у вас за разблюдовка?

(Увы, я уже усвоил этот язык...)

— А чего ж такого, интересно, ты хочешь? — спросил Фаныч.

— Боже мой! — закричал я. — Всем нам осталось жить, ну, максимум тридцать, сорок лет, неужели уж не имеем мы права хотя бы вкусно поесть?!

— Ну что, что?!

— Может быть, омар? — неуверенно сказал я. Очередь злорадно заржала.

— Омар... — недовольно бормотал Фаныч. — Комар!

И тут еще, как назло, прилетела стая воробьев — стали клевать мое второе, переступая, позвякивая неровной металлической посудиною, чиркая: "Прекрасное блюдо! Как, интересно, оно называется? Замечательное все же это кафе!".

— Вот, — сказал Фаныч, — пожалуйста, ребята довольны! Только таким вот, как вы, все не по нутру!..

Раньше, еще год назад, я бы и не задумался над этим, просто не обратил бы внимания, но сейчас мои мысли были заняты этим целиком. По утрам, когда все бежали на пляж, я надевал душную черную тройку, брал портфель и шел хлопотать по различным присутственным местам.

— Я таки найду управу! — злобно бормотал я...

Прошло уже две недели, а юга я так практически и не видел. Калькуляция, разблюдовка — вот что теперь меня увлекало. Только однажды, между двумя аудиенциями, заскочил я на базар, купил грушу с осой... И только однажды, свернув на секунду с пути, в костюме и с портфелем в руках, деловито прыгнул в море с высокой скалы, с которой все боялись прыгать, ушел глубоко в зеленую воду, вытянув за собой в воде длинный мешок кипящих белых пузырьков, похожий на парашют.

На юге перед всеми стоит вопрос — что делать по вечерам, когда садится солнце? Там, где я был прошлый год, все искали закурить (или прикурить). Сколько километров тогда я прошел, не спеша, по темной забитой людьми набережной в поисках своих любимых "Удушливых"!

Тут была другая проблема.

Здесь все искали трехкопеечные монеты для автоматов с газированной водой. Автоматы, светясь своими цветными картинками, стояли вдоль темной набережной, и даже стаканы были, стояли наверху, можно было их достать, но ни у кого не было трехкопеечных монет. А те редкие, что откуда-то появлялись, вскоре проваливались в щели, потом раздавалось шипение, и в стакан сначала брызгал желтый сироп, а потом лилась ледяная с пузырьками вода. Но такое случалось все реже.

Было душно, дул горячий пыльный ветер. В темноте все стояли вдоль шершавого, нагретого за день парашета.

Однажды с огромным трудом я достал трехкопеечную монету, дополз, донес ее девушке, которая мне там нравилась... Она схватила ее, поднесла к глазу, сказала сильным пыльным голосом:

— Кривая... не влезет...

Поздним вечером на набережной появлялся Фаныч. Шаркая сандалями, он хмуро шел по набережной с мешком трехкопеечных монет за спиной. Он-то как раз и был сборщиком денег с автоматов, был устроен на тот пост своей женой.

Когда он появлялся, все сразу же устремлялись за ним, протягивая деньги, умоляя разменять по три копейки.

— Нечего! Еще чего! — хмуро отвечал Фаныч.

И уходил с мешком...

Задумав всех жаждой, он, что интересно, искренне считал, будто делает важное дело, причем делает правильно, как положено, не то что некоторые другие!

И спорить с ним было бесполезно.

Ох уж эти наполеоны-гардеробщики, кладовщики! Чем мельче их власть, тем они недоступней. Помню, как Фаныч или похожий на него в гардеробе Публички, ничего не объясняя, пять лет подряд отказывался принимать мое пальто. И так, пять зим подряд, перебегал я Фонтанку без пальто по снегу!

И вот наконец я решился. Ночью с одним моим приятелем мы пробрались в комнату Фаныча, вытащили из-под кровати его мешок (положив, правда, на его место три червонца)...

С мешком мы выскочили на набережную.

— Сейчас по стаканчику! — кричал мой друг.

— По пять стаканов! — сказал я.

— Удобно? — сказал на это мой деликатный друг.

Медленно, глотками, я выпил воды из граненого стакана, почему-то пахнущего водкой. И еще стакан, и еще. На звон посуды стали собираться люди...

— Может, теперь с другим сиропом? — сказал я, уже бесчинствуя...

И только после этого я впервые за месяц искупался. Темно, ничего не видно. Только тихое неясное море цвета дыма.

Ночью ко мне на балкон прилетел мокрый купальник, сорванный ветром с какой-то далекой веревки, тяжело лег на лицо. Во сне я обнимал его, гладил, что-то горячо говорил...

С какой радостью я летел наконец в город!

Прямо с аэродрома поехал я на работу, вбежал...

В нашей комнате почему-то никого не было, только мой любимый лаборант Миша разговаривал по телефону. Разговор, видно, был важный — Миша не смог его прервать и только ласковым изменением тона на секунду поздоровался со мной.

Однажды к нам в комнату вбежала лаборантка и сказала, что кладовщик не хочет отпускать ей слюду. Я встал, спустился вниз. За деревянным некрашеным столом в неизменном своем треухе сидел хмурый Фаныч.

— Ну что? — сказал я. — Надо бы слюду отпустить.

Чувствовалось, ему вообще не хотелось отвечать, настолько глупым казалось мое требование. Минут через десять раздалось какое-то сипение, и наконец я услышал:

— Слюду! Чего захотел!.. А ты ее заприходовал, слюду? Через бухгалтерию ее провел?

Почему это я должен проводить ее через бухгалтерию? Так тяжело, трудно проходили с ним все дела... И, как ни странно, почему-то многие уважали и боялись его. Так, молча и хмуро, он захватывал постепенно все большую власть. Любой проект согласовывали, в первую очередь, с ним, а то он мог упереться, и ничего нельзя было сделать.

Бояться он действительно никого не боялся. Понизить его было некуда. Занимая самую низкую должность, он всячески упивался этим, сладострастно растревлял свою душу.

И, ежедневно общаясь с ним, я вдруг неожиданно заметил за собой, что стал все делать в полтора раза медленнее, чем раньше, и отвечать на вопросы только после долгого хмурого молчания.

И тут я испугался. Я побежал в лабораторию, заложил уйму опытов, сделал бешеную карьеру и наконец стал директором института. И первым моим приказом был приказ об увольнении Фаныча. Какое облегчение я почувствовал после этого!

Соскочил все-таки с этой телеги, что везла меня к усталости, к тяжести, к смерти!..

На радостях я позвонил одному своему старому другу, позвал его в баню попариться, размять кости, сбросить с себя накопившуюся пыль!

Сладострастно предвкушая, как будет в пару ломить тело, мы прошли через двор, усыпанный кирпичом и стеклом, прошли по мосткам, установленным над свежеврытой канавой, и вошли в темноватое помещение бани. Тускло светила только касса в самом углу. Там среди мочалок, штабелей мыла и почему-то уже мокрых распушенных веников сидел Фаныч, похожий сразу на лешего, водяного и домового.

— Пиво есть в классе? — спросили мы у него.

— Нет пива, нет! — с удовольствием сказал он. Помню, и когда он работал у нас, главным его удовольствием было — отказывать.

— Придется в другой класс, по пятнадцать копеек. Мы снова шли через дворы, поворачивая, потом вошли в класс по пятнадцать копеек, и там, тоже в углу, была касса, и в ней тоже сидел Фаныч! Сначала я растерялся, был готов дать этому какое-то чуть ли не символическое объяснение...

— Есть пиво? — спросил мой друг.

— Есть... — неохотно сказал Фаныч.

И тут я понял, в чем дело: просто стена, разделяющая баню на классы, упирается в эту кассу, выходящую сразу на две стороны. И с одной стороны Фаныч продает билеты по восемнадцать, а с другой — за пятнадцать. Одной половиной лица говорит: "Есть пиво", — а другой: "Нет".

Стекло кассы вдруг задрожало от какого-то приблизившегося мотора, потом дверь распахнулась, и в темное пространство перед кассой вошла Аня. Я не видел ее с тех пор... Только я хотел вступить с ней в беседу, как в дверь толпами стали входить иностранцы.

— О! — гомонили они не по-нашему. — Оригинально! Русский дух! Колоссаль!

Но Фаныч, однако, быстро развеял их чрезмерное оживление, заставив выстроиться всех в очередь, бросая каждому в отдельности тонкий, завивающийся вверх билетик.

Санкт-Петербург

